

УДК 930.1(091)

**«РАЗДЕЛЕННАЯ ИСТОРИЯ»:
ИЗУЧЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
НА ЗЕМЛЯХ БЫВШЕЙ
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ДИСКУССИЙ**

И. О. Дементьев*



*В современных гуманитарных и общественных науках тематика исторической политики и связанной с ней культуры памяти приобретает все большую значимость, отражаясь на изменениях как в законодательстве, так и в историографии и политологии. Цель статьи — представить основные подходы к изучению исторической политики и проанализировать с точки зрения этих подходов состояние и перспективы исследования исторической политики на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Показаны разные точки зрения исследователей в отношении ключевых понятий *memory studies*: одни отождествляют понятия «политика памяти» и «историческая политика», другие различают их; существуют разные мнения по поводу продуктивности применения категории «места памяти». На основе метода историографического анализа продемонстрированы сходства и различия в подходах к исторической политике и политике памяти, оценена продуктивность использования понятий «места памяти» и «конфликты памяти» в странах Балтийского региона, охарактеризованы новейшие работы историков и политологов об изменениях в культуре памяти в России в целом и в Калининградской области в частности от советского к постсоветскому периоду. На примере современной историографии показано, что «места памяти» и «историческая политика» сегодня являются наиболее востребованными категориями для изучения культуры памяти и идентичности, а компаративный анализ — перспективным методом для исследования специфики исторической политики на землях бывшей Восточной Пруссии.*

* Балтийский федеральный университет им. И. Канга, 236041, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14.

Поступила в редакцию 07.09.2015 г.

doi: 10.5922/2074-9848-2015-4-6

© Дементьев И.О., 2015

Ключевые слова: Восточная Пруссия, историческая политика, Калининградская область, политика памяти

Тематика исторической политики лежит на пересечении двух сфер гуманитарного знания: политической истории (предполагающей комплексное изучение деятельности политических институтов и их репрезентации в общественном сознании) и *memory studies* (междисциплинарного пространства исследований коллективной памяти). Политическая история успешно развивалась в науке на протяжении нескольких столетий, а *memory studies* оформились в качестве полноправного направления в последнюю четверть прошлого века. Границы между этими сферами проницаемы, причем проблематика политической истории также тесно связана с политологической.

Теоретические рамки для исследования коллективной памяти заданы в классических работах П. Нора, Я. и А. Ассманов и др. (см. рус. пер. работ [1; 2; 11]). Большую популярность приобрели концепты «места памяти» (П. Нора) и «культурная память» vs. «коммуникативная память» (Я. и А. Ассман). Применяя новый понятийный аппарат, исследователи изучали в 1980—2010-х гг. различные аспекты коллективной памяти. Широкий интерес общественности и профессионалов к тематике памяти описывается сегодня как «мемориальный бум» (*memory boom*) или «мемориальный поворот» (*memorial turn*).

К тому же ряду базовых понятий относятся «политика памяти» и «историческая политика», которые, однако, трактуются по-разному. А. Ассман, к примеру, склонна сближать «историческую политику» (следом за К. Леггеви понимая под ней вопросы организации, управления и процессы принятия политических решений, определяющие «мемориальные структуры» [1, с. 300]) и «мемориальную политику» (такой термин избран переводчиком в российском издании) (см. [1, с. 73]). Н. Е. Копосов также отождествляет их («Историческая политика, или политика памяти, — термин сравнительно новый, хотя явление это очень старое» [6, с. 52]), описывая мемориальное законодательство как яркое проявление такой политики. Некоторые авторы применяют этот концепт, обозначающий «очень старое явление», уже к раннему Средневековью [24].

Есть в то же время исследователи, которые различают два термина. Тогда под политикой памяти (нем. *Gedächtnispolitik*) понимаются дискурсивные, перформативные и материальные репрезентации коллективной идентичности, стратегии борьбы и конкуренции памяти разных коллективов. Историческая политика (нем. *Geschichtspolitik*), осуществляемая властью в рамках определенного политического режима, в таком контексте оказывается лишь одной из форм политики памяти. Конкурирующие с «гегемоном» этнические, культурные, социальные, гендерные группы выстраивают в современных обществах свои политики памяти, и вся совокупность сложных взаимоотношений различных субъектов по поводу интерпретации и репрезентации прошлого становится подходящим для междисциплинарного изучения объектом.

А. И. Миллер также различает политику памяти и историческую политику. Датируя появление «исторической политики» временем канцлерства Гельмута Коля, когда критики последнего определили политику

ческий поворот в интерпретации прошлого термином *Geschichtspolitik*, историк прослеживает реанимацию термина и его (*poltyka historyczna*) переосмысление консервативной частью элиты в позитивном ключе в Польше в 2004 г. и, далее, в других странах региона [8, с. 7]. Миллер понимает под исторической политикой «политические манипуляции историей» [8, с. 12], которые трактуются как пример повышенного внимания политиков и исследователей к *политике памяти* [8, с. 8] — из последнего замечания понятно, что это далеко не синонимы. Логику А. И. Миллера развивает О. Ю. Малинова, которая, следуя М. Кангаспуру, различает историческую политику и «политическое использование истории» — более широкую категорию, предполагающую осознанное оперирование историей как инструментом политической аргументации [7, с. 8—9]. Анализ того, как используется прошлое в современных политических дискуссиях и риторике российских президентов, побуждает О. Ю. Малинову говорить об этой практике как об одном из «центральных элементов *символической политики*» [7, с. 23], уходя от сложного выбора между понятиями «исторической политики» и «политики памяти».

Пикантность вопросу придает также наличие разных терминологических традиций в основных языках современной науки (см. об этом: [39, S. 15—16]). Отсутствие консенсуса по поводу терминов приводит к спорным решениям: одна из недавних публикаций имеет два названия — немецкое и английское. В первом фигурирует слово *Geschichtspolitik* (историческая политика), которое во втором передано конструкцией *Historical memory culture* (культура исторической памяти) [20].

В немецкой литературе термин «историческая политика» впервые зафиксирован в 1986 г. в работе Кристиана Майера, а на конец 2000-х гг. он был наиболее распространенным в сравнении с *Vergangenheitspolitik*, *Erinnerungspolitik* и *Gedächtnispolitik* (см. [33, S. 70—71]). В англо-американской литературе концептуализация *politics of memory* приходится на рубеж 1970—1980-х гг., но исследования политики памяти заметно активизировались после окончания холодной войны.

Основные достижения исследователей в 1990—2000-х гг. касались Европы после Второй мировой войны. В классической работе «Политика памяти в послевоенной Европе» (под редакцией Р. Нед Лебоу и др., 2006 [35]) в компаративном ключе представлены разные европейские кейсы использования прошлого в политических целях. По этому же пути шли и другие ученые в Европе и США. В 2010 г. некоторые итоги исследований были подведены в сборнике «Историческая политика и коллективная память» (2010) под редакцией Х. Шмида. Хайдемария Уль и Харальд Шмид характеризуют разные стороны политики в отношении прошлого на примере современных государств [33; 40]. Историческая политика трактуется немецкими исследователями как фактор «большого политического влияния», как инструмент борьбы (*Geschichtskampf*), которая не может быть редуцирована ни к узкоспециальным историографическим дискуссиям, ни к публичным дебатам по поводу актуальных политических и социально-экономических про-

блем. Сфера борьбы вокруг прошлого становится все более значимой областью современного политического действия. Исследователи сегодня задаются вопросами о формах и средствах реализации исторической политики, ее функциях и результатах, акторах, нормативных контекстах (включая правовые — мемориальное законодательство и т. п.).

Для большинства исследователей исторической политики на первый план выдвигается фактор влияния властвующей элиты на ее реализацию. Во Франции, например, активное вмешательство власти в процессы коммеморации (увековечения и репрезентации в национальной культурной памяти) начинается в годы президентства Ф. Миттерана (1981—1995): его предшественник В. Жискара д'Эстен не вмешивался в зону компетенции историков-профессионалов, однако с начала 1980-х гг. власти силами специализированных комитетов постоянно организуют коммеморацию значимых событий или персон (см. [19, р. 920], а также у П. Нора об «эре коммемораций»: [11, с. 95—96]). При этом вовлеченное в процесс переосмысления истории государство не только поддерживает «холодную» память (чувствуя национальных героев или национальные победы), но и активно участвует в решении проблем «горячей» памяти, которые в России принято называть «трудными вопросами истории». На 1990-е гг. пришлось официальное признание ответственности Франции за депортацию евреев в годы Второй мировой войны, сформировавшее матрицу нового отношения к «черным страницам» национального нарратива (рабство, колониальные войны и другие явления, включая те, к которым французское государство не имело отношения, например геноцид армян в Турции). Несмотря на утверждение Жака Ширака в 2005 г. о том, что «в Республике нет официальной истории» (цит. по: [19, р. 921]), государство формирует сбалансированную «мемориальную экономику», уравнивающую признание ошибок и прославление достижений.

Для понимания вектора развития исследований памяти целесообразно обратиться к понятию «места памяти» («одному из самых успешных концептов в европейской историографии за последние тридцать лет» [29, S. 129]), к которым коллектив под руководством П. Нора отнес все то, что подвергается коммеморации. В знаменитом одноименном трехтомнике были описаны способы конституирования республиканского и национального дискурса: символика, памятники, педагогические и историографические стратегии и т. п. [28].

Этот проект критиковался с разных позиций. Одни оппоненты отмечали, что указанные «места памяти» отчетливо связаны с национальными (государственными) интересами: утверждая единый национальный дискурс, они провоцировали конфликты по поводу «мест памяти», конкуренцию коммеморативных стратегий. Другие исходили из того, что проект П. Нора и его коллег представляет собой игру пресыщенного ума интеллектуала, возможную только в рамках французской культурной традиции и не воспроизводимую в других контекстах [4, с. 70], — время, впрочем, обнаружило несостоятельность этой критики.

Неудивительно, что дальнейшие исследования «мест памяти» развивались по двум направлениям: применение популярного концепта в других странах и исследование «мест памяти» в иных масштабах. Первое направление отмечено аналогичными работами по истории итальянских, немецких [14; 16] и других национальных «мест памяти»: на 2013 г., по подсчетам Б. Мажерюса, было завершено 12 национальных проектов, включавших, помимо указанных, исследование «географии памяти» в Австрии, Бельгии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, России и Швейцарии [29, p. 121].

Второе направление — это транснациональные и локальные (региональные) исследования. В 2002 г. вышли такие публикации, как «Транснациональные места памяти: северно- и южноевропейские перспективы», «Транснациональные места памяти в Центральной Европе» [37; 38] и др. Аналогичные работы посвящены локальным «местам памяти» (на уровне городов и регионов). Первые попытки применить обсуждаемый концепт к истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии осуществлены польскими и немецкими историками Р. Трабой, Б. Хоппе, А. Энгель-Брауншмидт и др. [15; 22; 23; 36]; в литовской литературе предложен анализ «Малой Литвы» как литовского места памяти [41]; наконец, и российские исследователи сегодня используют это понятие для реконструкции основных элементов дискурса региональной идентичности, а также практик коллективной памяти и исторического сознания в советском Калининграде (1945—1990) [5].

В описанных выше случаях проблематика «мест памяти» в значительной степени ушла от первичной функции поддержания национальных мастер-нарративов в сторону нюансированного исследования специфических памятней коллективов, их конкуренции, стратегий их репрезентации и т. п. Сегодня исследование «политики памяти» на любом уровне неизбежно требует выявления и рассмотрения «мест памяти» как наций, так и различных этнических и социальных групп. Политика памяти в этом контексте будет описываться как деятельность различных акторов по интерпретации и репрезентации прошлого через символически выраженные «места памяти» (в случае властвующей элиты уместно говорить об исторической политике как частном случае политики памяти).

Еще одним значимым понятием стал концепт «конфликты памяти». Обычно в Восточной Европе речь идет о разногласиях в интерпретации советского опыта, однако на деле поводов для «мемориальных войн» значительно больше (например, в Литве увековечение памяти антисоветских партизан как героев сталкивается с контр-нарративом еврейских общин; для последних некоторые участники литовского сопротивления советской власти оказываются коллаборантами нацистов и соучастниками холокоста). Характерно в этой связи название статьи Клаусса Леггеви, посвященной дебатам вокруг Бронзового солдата в Таллине, — «Разделенная история Европы» [27].

Констатация «разделенности» приобретает характер общего места в рассуждениях о политике памяти в регионе (ср. статью «Разделенная

память» Кшиштофа Помяна, прямо утверждающего: «Всякая коллективная память есть разделенная память» [31, S. 39]). Хотя в изучении исторической политики в странах Балтийского региона делаются только первые шаги, одним из ключевых вопросов становится исторический потенциал конфликтов в регионе — этому посвящена статья Имби Зооман: наряду со шведско-финскими или финско-эстонскими спорами высоким признается конфликтный потенциал и во взаимоотношениях балтийских государств и России [34, S. 17—25]. Для центрально- и восточноевропейской истории неизбежную конфликтность несут столкновения памятей вокруг депортации немецкого населения из регионов, перешедших к Польше, СССР и Чехословакии по итогам Второй мировой войны. Для культурной памяти россиян (за исключением калининградцев) этот аспект первых послевоенных лет практически незаметен, поэтому сюжет депортации не играет особой роли в национальной исторической политике, хотя в культурах памяти немцев, поляков и чехов он постепенно повышает свое значение (см. об этом [26]).

Естественно, западных исследователей преимущественно интересует западная историческая политика, однако в последние годы возрастает интерес к восточноевропейской истории. Это и монографические исследования отдельных случаев, как фундаментальная работа Ф. Б. Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти (1263—2000)» [12], и такие сборники, как «Историческая политика и культура памяти в новой России» (2009, под редакцией Л. Карла и И. Полянского — см.: [21; 25]). В первом случае классическое рассмотрение эволюции образа Александра Невского в русской культурной памяти обернулось исследованием механизмов исторической политики российского государства (вплоть до постсоветского периода). Вторая работа открыла дискуссию о том, как соотносятся историческая политика и культура памяти в России рубежа столетий.

Целесообразно обратиться к опубликованной в этом сборнике статье Ольги Курило, которая прослеживает эволюцию русской (российской) культуры памяти в СССР и постперестроечной России. До Перестройки «ландшафт памяти» (*Erinnerungslandschaft*) был в основном гомогенным. Официальный дискурс о прошлом в многонациональном государстве предполагал единую советскую историю, а не национальные истории. Разрешенные воспоминания отдельных национальных групп подвергались значительному идеологическому искажению. Центральные темы советской истории (прежде всего Октябрьская революция и Вторая мировая война) доминировали как в научной литературе, так и в публичных ритуалах, причем гомогенизация культуры памяти обеспечивалась за счет запрета и альтернативных воспоминаний, и проявлений критической мысли в публичном пространстве. Табуированные темы (красный террор, депортации народов в сталинский период, холокост на оккупированной советской территории, плен и коллаборационизм в годы Второй мировой войны) вытеснялись в пространство личной и семейной памяти или памяти неподконтрольных государству групп (кружков диссидентов). Индивидуальные воспоминания

о войне, вступавшие в противоречие с канонической версией, не могли предаваться гласности [25, S. 144—145].

Перестройка создала условия для публикации альтернативных воспоминаний о прошлом. Постсоветская память манифестируется прежде всего в специфических «местах памяти» и «фигурах памяти» (*Gedächtnisfiguren*). К последним относятся два выбранных для анализа конкурирующих дискурса о прошлом — «демократический» и «национально-патриотический» [25, S. 146]. Первый опирается на признание плюрализма, альтернативности путей общественного развития и поддерживается правозащитными организациями. Присутствовавший в советской культурной памяти дискурс жертвы (*Opferdiskurs*) в форме нарратива о страданиях советского гражданского населения в годы войны поместил жертв советской системы в центр воспоминаний. Несмотря на успехи в продвижении демократической культуры памяти как в столице, так и в регионах (деятельность общества «Мемориал», установка памятников жертвам политических репрессий, введение тематики холокоста в школьные программы и т. д.), в постсоветской памяти сохраняются темы, обсуждение которых по-прежнему затруднено (например, масштабы коллаборационизма в годы войны) [25, S. 147]. Однако власть в России (статья опубликована в 2009 г.) поддерживала в некоторых масштабах «демократическую память», сигнализируя обществу о своей открытости и готовности к диалогу с Западом.

«Национально-патриотическая память», за которую ответственны различные организации национально-патриотического характера (и в первую очередь Русская православная церковь), продвигает коммеморацию важных для формирования национальной идентичности событий. Эта фигура памяти, по О. Курило, не имеет особой поддержки в российской интеллектуальной элите, а организации такого толка находятся на обочине социума [25, S. 154].

Вывод историка состоит в том, что современная культура памяти в России не поддается однозначному определению, эклектично соединяя различные символы и «места памяти». Неоднородность приоритетов политики памяти в современной России связана также с приватизацией и интернационализацией воспоминаний, избирательной реанимацией старых стереотипов и т. д. Процесс демократизации культуры памяти в России, по мнению О. Курило, идет медленно не только по политическим, но и по социально-психологическим причинам — ликвидация советских институтов не означала одновременных перемен в менталитете «советского человека» [25, S. 158].

Хотя О. Курило нарисовала в целом правдоподобную картину эволюции культуры памяти в России, ряд положений может быть оспорен. Характеристика культуры памяти, рамки которой обозначила советская историческая политика, справедлива, хотя ее гомогенность несколько преувеличена: определенные дискуссии допускались и в рамках советской историографии, оценки репрессий и сталинского режима на разных этапах колебались между осуждением и замалчиванием, в советских республиках существовали версии национальной истории, выхо-



дившие за рамки строго идеологизированного канона (дискурс жертвы описывал страдания народа как от собственного господствующего класса, так и от российского империализма). Лев Гудков анализирует неоднородность советской исторической политики в отношении памяти о Великой Отечественной войне — от разрыва между личным опытом фронтовиков и официально-парадной версией событий в конце 1940-х — начале 1950-х гг. к интенсивному матрицированию массовых представлений о войне в 1960-х — начале 1980-х гг. [3, с. 90—91; ср.: 6, с. 90—105; 21].

Характеристика постсоветской ситуации как конкуренции между двумя «фигурами памяти» страдает неполнотой (сохранение советской топонимики и символики подразумевает наличие еще одного дискурса). Обе «фигуры памяти» занимают определенные места и в общественном мнении, и в репертуаре предпочтений элиты: тезис О. Курило о мотивах поддержки «демократической памяти» властью сохраняет актуальность даже в контексте исторической политики в России последних лет, когда объем государственной поддержки «демократической памяти» заметно сократился.

Об этом свидетельствует принятое в разгар обострения отношений со странами Запада распоряжение российского правительства от 15 августа 2015 г. «Об утверждении концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». В концепции причудливым образом сочетаются демократическая риторика и этатистские стереотипы: «Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий» [9]. Концепцию можно рассматривать как результат компромисса между разными фигурами памяти, потому что в ней апология восстанавливающего свои позиции «в мировом сообществе» государства соединяется с реверансами в адрес как «национально-патриотической» (после «колоссальных потерь» в годы войн первой из трагедий советского периода указаны «гонения на представителей религиозных конфессий»), так и «демократической памяти» (первой задачей в построении национальной идентичности значится «формирование правового государства, в основе которого заложено соблюдение прав человека, социальных и этнических групп населения страны»). Принцип «необходимости объективного анализа как достижений советского периода, так и его трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий» [9] отражает сложность, знакомую и другим элитам (см. выше пример Франции).

Рассуждения О. Курило гармонируют с выводами других историков памяти. В статье Йорга Ганценмюллера и Рафаэла Утца, составителей сборника «Советские преступления и русская память» (2014), подчеркиваются противоречивый характер официальной российской политики в отношении сталинизма и существование на фоне этой политики разнобразного ландшафта памяти [18, S. 28—30]. Близкие выводы содержатся и в работах российских авторов [6; 7].

Изучение исторической политики на территории бывшей Восточной Пруссии (Варминьско-Мазурское воеводство Польши, Калининградская область России и Клайпедский край Литвы) требует общей рамки для сравнения, которую обеспечивает анализ опыта социализма и постсоциалистического транзита. Выводы О. Курило и других авторов могут быть экстраполированы — с известными поправками — на все три региона, представляя собой отправную точку для исследования разных моделей исторической политики на землях бывшей Восточной Пруссии.

Историческая политика в Калининградской области (как и в других регионах), к примеру, отражала общенациональные тенденции и обладала региональной спецификой (в частности, обусловленной довоенным прошлым территории). Польский социолог А. Саксон проследил различия в символическом присвоении земель бывшей Восточной Пруссии в Польше и Литовской ССР, где постулировалось возвращение исторических территорий, и в российской Калининградской области, где приходилось осваивать территорию заново (см.: [32]). Так сложились две модели исторической политики (надо признать, что в сталинской пропаганде в первые послевоенные годы была предпринята попытка реализовать ту же модель «возвращения исконных земель», но она оказалась безуспешной).

В дополнение к образу «разделенности» истории литовский историк Василиюс Сафроновас, известный работами по «культуре воспоминания» в Клайпеде, изобрел еще одну емкую характеристику: «недоделенность» наследства Восточной Пруссии. Хотя немецкая провинция «не существует как отдельный регион уже много десятилетий, она все еще порождает конфликты территориального воображения, основанного на этнографическом принципе и ментальной географии, опирающейся на идею легитимного завоевания» [10, с. 208]. Исследователь констатирует, что польские и немецкие историки находятся в процессе сближения двух культур, описывая восточнопрусское прошлое через две «разные национальные перспективы»; такой путь пока недоступен российским и литовским историкам, потому что «стороны отталкиваются от двух принципиально разных подходов: один основан на идее легитимного завоевания, другой — на концепции этнографического единства населения» [там же], вследствие чего неизбежно столкновение памятей, характер которого отчасти обусловлен фактом недоделенности наследства.

В постсоветский период противоречивость исторической политики в самой западной российской области была еще рельефнее, чем в других регионах. О. Курило отмечала, что в Калининграде сохраняются такие атрибуты советской эпохи, как название города и памятник М. И. Калинину [25, S. 154]. В Литве и Польше, при всех различиях в историческом опыте этих стран, реализована иная стратегия десоветизации. Кроме того, компаративный подход может не ограничиваться тремя «восточнопрусскими» землями, но расширять масштаб рассмотрения, обнаруживая плодотворность при сопоставлении политики памяти в

бывших немецких регионах, отошедших к Польше частично (как Восточная Пруссия) или полностью (как Силезия) [13, р. 28—29], или при сравнении сходств и отличий в историческом обосновании сталинской стратегии советизации вновь присоединенных районов Калининградской области, части Карельского перешейка и Сахалина с Курильскими островами [30].

Исследование политики памяти в понимании современных ученых неразрывно связано с реализацией междисциплинарного подхода через кооперацию со специалистами в сфере *cultural studies*, *urban studies*, *trauma studies*, анализа дискурса и др. В последние годы возрос интерес к социально-психологической стороне «культуры памяти»: напряжению между памятью и идентичностью, когнитивным измерениям изменений культуры памяти (см. обстоятельный обзор у Эльке Файн: [17]). В этом свете процитированные рассуждения О. Курило о «менталитете советского человека» могут быть уточнены с учетом новых теоретических достижений.

Как любой другой концепт, «историческая политика» и «мемориальная политика» историчны сами по себе. Они появились недавно и могут утратить актуальность. Кшиштоф Помян, опираясь на понимание неизбежно конфликтного характера коллективной памяти, высказался радикально: «Недавно у нас много говорили о “политике памяти”. Я предлагаю замещать ее этикой памяти» [31, S. 40]. Со временем, возможно, гуманистический пафос ученых возобладает над частными интересами политических элит, но на современном этапе от исследования политики памяти отказаться невозможно.

Изменение тематики происходит также за счет изучения континуитета между более ранними или более поздними периодами в развитии исторической политики современных государств, выявления противоречий по поводу интерпретации и репрезентации прошлого между различными этническими группами (в том числе меньшинствами), определения дискурсивных и визуальных механизмов реализации политики памяти и т. д. «Места памяти», «историческая политика», «политика памяти» сегодня становятся разными точками входа в проблемное поле, в котором выдвигаются и решаются вопросы памяти и идентичности. Плодотворность использования этих концептов при всей нестабильности понятийного аппарата и с учетом существующих методологических ограничений доказана на примере анализа мастер-нарративов национального уровня, но ясно, что она обнаружит себя и в ходе изучения истории регионов, включая территорию бывшей Восточной Пруссии, разделенной сегодня между тремя государствами.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)».

Список литературы

1. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М., 2014.
2. *Ассман Я.* Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
3. *Гудков Л.* «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005. С. 83—103.
4. *Джадт Т.* «Места памяти» Пьера Нора: чьи места? чья память? // Империя и нация в зеркале исторической памяти. М., 2011. С. 45—74.
5. *Карпенко А. М.* «Место памяти» в системе политических координат: случай Калининградской области // Daugiareikšmēs tarpatybės tarpuerdvėse: Rytu Prūsijos atvejis XIX—XX amžiais. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda, 2011. T. 23. S. 234—252.
6. *Копосов Н. Е.* Память строгого режима. История и политика России. М., 2011.
7. *Малинова О. Ю.* Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015.
8. *Миллер А. И.* Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке. М., 2012. С. 7—32.
9. *Об утверждении* концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий: распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. №1561-р. URL: <http://government.ru/docs/19296/> (дата обращения: 20.08.2015).
10. *Сафроновас В.* Восточная Пруссия — недоделенное наследство? // Ab Imperio. 2014. № 1. С. 205—243.
11. *Франция-память* / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999.
12. *Шенк Ф. Б.* Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263—2000). М., 2007.
13. *Demshuk A.* The lost German East. Forced migration and the politics of memory, 1945—1970. Cambridge, 2012.
14. *Deutsche Erinnerungsorte* / Hrsg. E. François, H. Schulze. München, 2001. Bd. 1—3.
15. *Engel-Braunschmidt A.* “Im Schatten des Schlosses”: Königsberg / Kaliningrad // Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheiten auf dem Prüfstand / Hrsg. R. Jaworski [et al.]. Frankfurt a/M., 2003. S. 8—95.
16. *Erinnerungsorte* der DDR / Hrsg. M. Sabrow. München, 2009.
17. *Fein E.* Geschichtspolitik und Identität. Eine sozialpsychologische (Re)Interpretation russischer Erinnerungskulturen am Beispiel zweier post-sowjetischer Erinnerungsorte // Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte — Akteure — Deutungen / Hg. J. Ganzenmüller, R. Utz. München, 2014. S. 245—306.
18. *Ganzenmüller J., Utz R.* Exkulpation und Identitätsstiftung. Der Gulag in der russischen Erinnerungskultur // Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. S. 1—30.
19. *Garcia P.* Usages publics de l’histoire // Historiographies, II. Concepts et débats / sous la dir. C. Delacroix [et al.]. P., 2010. P. 912—926.
20. *Geschichtspolitik* im erweiterten Ostseeraum und ihre aktuellen Symptome — Historical memory culture in the enlarged Baltic Sea Region and its symptoms today / Hg. O. Rathkolb, I. Sooman. Göttingen, 2011.

21. *Hösler J. A.* Der “Grosse Vaterländische Krieg” in der postsowjetischen Historiographie // *Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im neuen Russland* / Hrsg. L. Karl, J. Polianski. Göttingen, 2009. P. 237—249.

22. *Hoppe B.* Die Last einer feindlichen Vergangenheit. Königsberg als Erinnerungsort im sowjetischen Kaliningrad // *Preussen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte* / Hg. M. Weber. München, 2003. S. 299—311.

23. *Hoppe B.* Königsberg / Kaliningrad im 20. Jahrhundert — Abbruch oder Kontinuität? // *750 Jahre Königsberg. Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit*. Marburg, 2008. S. 587—600.

24. *Koziol G.* The politics of memory and identity in Carolingian royal diplomas: the West Frankish Kingdom (840—987). Turnhout, 2012.

25. *Kurilo O.* Wandel der Erinnerungslandschaften im heutigen Russland: zwischen sowjetischem und postsowjetischem Denken // *Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im neuen Russland*. S. 141—162.

26. *Landschaften der Erinnerung. Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht* / Hg. E. Mehnert. Frankfurt a/M., 2001.

27. *Leggewie C.* Europas geteilte Geschichte. Am Beispiel des Erinnerungskonflikts um “Aljo scha” // *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften* / Hg. S. Berger, J. Seiffert. Essen, 2014. S. 229—246.

28. *Les lieux de mémoire* / sous la dir. P. Nora. P., 1997. T. 1—3.

29. *Majerus B.* The “lieux de mémoire”: a place of remembrance for European historians? // *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften*. S. 117—130.

30. *McIvor M. C.* Soviet policy towards the new territories of the RSFSR, circa 1939 to 1953: Ph. D thesis. L., 2012.

31. *Pomian K.* “Geteiltes Gedächtnis”: Europas Erinnerungsorte als politisches und kulturelles Phänomen // *Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven* / Hg. V. Weber et al. München, 2011. S. 27—40.

32. *Sakson A.* Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. Poznań, 2011.

33. *Schmid H.* Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept. Zur Historisierung der Kategorie “Geschichtspolitik” // *Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Kollektiven Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis*. Göttingen, 2009. S. 53—76.

34. *Sooman I.* Aktuelle historische Konfliktpotentiale im Ostseeraum // *Geschichtspolitik im erweiterten Ostseeraum und ihre aktuellen Symptome. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven* / Hg. V. Weber et al. München, 2011. S. 11—29.

35. *The Politics of Memory in Postwar Europe* / ed. R. N. Lebow. Duke, 1986.

36. *Traba R.* Zwischen “Bollwerk” und “Heimattmuseum”. Zu ostpreussischen Erinnerungsorten // *Preussen in Ostmitteleuropa*. S. 283—295.

37. *Transnationale Erinnerungsorte: Nord- und südeuropäische Perspektiven* / Hrsg. B. Henningsen [et al.]. Berlin, 2009.

38. *Transnationale Gedächtnisorte in Zentraleuropa* / Hrsg. J. Le Rider [et al.]. Wien; München; Bozen, 2002.

39. *Troebst S.* Geschichtspolitik. Politikfeld, Analyserahmen, Streitobjekt // *Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich*. Göttingen, 2013. S. 15—34.



40. Uhl H. Kultur, Politik, Palimpsest. Thesen zu Gedächtnis und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts // Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. S. 37—52.

41. Vitkus H. Mažoji Lietuva kaip lietuvių atminties vieta: teorinis modelis // Daugiareikšmės tapatybės tarpurdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX—XX amžiais. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda, 2011. T. 23. S. 203—233.

Об авторе

Илья Олегович Дементьев, кандидат исторических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: IDementev@kantiana.ru



A 'DIVIDED HISTORY': THE POLITICS OF MEMORY ON THE TERRITORY OF THE FORMER EAST PRUSSIA IN THE LIGHT OF CURRENT DISCUSSIONS

I. Dementyev*

*Immanuel Kant Baltic Federal University
14 A. Nevskogo ul., Kaliningrad, 236041, Russia.

Submitted September on 07, 2015

In the humanities and social sciences, the politics of memory and related culture of remembrance increase their significance, affecting legislation, historiography, and political science. This article aims to present key approaches to studying the politics of memory and employ them to the analysis of the politics of memory on the territory of the former German province of East Prussia. The author shows different research perspectives on the key concepts of memory studies. Some researchers identify the notion of the 'politics of memory' with that of the 'politics of history', while others distinguish between them. The author evaluates the effects of using the category of 'memory sites'. Applying the method of historiographical analysis, the author examines similarities of and differences between approaches to the politics of history and the politics of memory. The author evaluates the effects of using the notions of 'memory sites' and 'memory conflicts' in the Baltic Region states, and reviews recent works of historians and political scientists on the changes in the culture of remembrance in Russia in general and the Kaliningrad region in particular during the Soviet and post-Soviet periods. Modern historiography is used as an example to demonstrate that 'memory sites' and the 'politics of history' are the most relevant concepts in the study of the culture of remembrance and identity, whereas a comparative analysis proves to be effective for the identification of the main features of the politics of memory on the territory of the former East Prussia.

Key words: East Prussia, politics of history, Kaliningrad region, politics of memory

References

1. Assmann, A. 2014, *Dlinnaja ten' proshlogo: Memorial'naja kul'tura i istoričeskaja politika* [The Long Shadow of the Past: The memorial culture and historical policy], Moscow.
2. Assmann, Ya. 2004, *Kul'turnaja pamjat': Pis'mo, pamjat' o proshlom i političeskaja identičnost' v vysokih kul'turah drevnosti* [Cultural memory: Letter, the memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity], Moscow.
3. Gudkov, L. 2005, «Pamjat'» o vojne i massovaja identičnost' rossijan ["Memory" of the war and the mass identity of Russians]. In: *Pamjat' o vojne 60 let spustja: Rossija, Germanija, Evropa* [The memory of the war 60 years later: Russia, Germany, Europe], Moscow, p. 83—103.
4. Judt, T. 2011, «Mesta pamjati» P'era Nora: Ch'i mesta? Ch'ja pamjat' ["Places of Memory" by Pierre Nora: Whose space? Whose memory?]. In: *Imperija i nacija v zerkale istoričeskoj pamjati* [Empire and the nation as a mirror of historical memory], Moscow, p. 45—74.
5. Karpenko, A.M. 2011, «Mesto pamjati» v sisteme političeskikh koordinat: sluchaj Kaliningradskoj oblasti ["Place of memory" in the system of political coordinates: The case of the Kaliningrad region], *Daugiareikšmēs tapatybēs tarpuerdvēse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais. Acta Historica Universitatis Klaipedensis*, T. 23. Klaipėda, p. 234—252.
6. Kuposov, N.E. 2011, *Pamjat' strogogo rezhima. Istorija i politika Rossii* [Memory strict regime. Russian History and Politics], Moscow.
7. Malinova, O.Yu. 2015, *Aktual'noe proshloe: simvoličeskaja politika vlastvujushhej jelity i dilemmy rossijskoj identičnosti* [Contemporary history: symbolic politics of the ruling elite and the dilemma of Russian identity], Moscow.
8. Miller, A.I. 2012, *Istoričeskaja politika v Vostočnoj Evrope nachala XXI veka* [Historical policy in Eastern Europe beginning of the XXI century]. In: *Istoričeskaja politika v XXI veke* [Historical policy in the XXI century], Moscow, p. 7—32.
9. *Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 15 avgusta 2015 goda №1561-r «Ob utverzdenii koncepcii gosudarstvennoj politiki po uvekovečeniju pamjati zhertv političeskikh repressij»* [Order of the Government of the Russian Federation dated August 15, 2015 №1561-p "On approval of the concept of public policy to perpetuate the memory of victims of political repressions"], 2015, available at: <http://government.ru/docs/19296/> (accessed 20.08.2015).
10. Safronovas, V. 2014, *Vostochnaja Prussija — nedodelennoe nasledstvo?* [East Prussia - unfinished legacy?], *Ab Imperio*, no. 1, p. 205—243.
11. Nora, P. Ozouf, M., de Pyuimezh, J., Vinok, M. (eds.), 1999, *Francija-pamjat'* [France Memory], Saint Petersburg.
12. Schenk, F.B. 2007, *Aleksandr Nevskij v rusškoj kul'turnoj pamjati: svjatoj, pravitel', nacional'nyj geroj (1263—2000)* [Alexander Nevsky Russian cultural memory: saint, the governor, the national hero (1263-2000)], Moscow.
13. Demshuk, A. 2012, *The lost German East. Forced migration and the politics of memory, 1945—1970*, Cambridge.
14. François, E. Schulze, H. 2001, *Deutsche Erinnerungsorte*, München, Bd. 1—3.
15. Engel-Braunschmidt, A. "Im Schatten des Schlosses": Königsberg / Kaliningrad. In: Jaworski, R. [et al.]. (ed.), 2003, *Gedächtnisorte in Osteuropa. Vergangenheiten auf dem Prüfstand*, Frankfurt a/M., p. 8—95.
16. Sabrow, M. (ed.), 2009, *Erinnerungsorte der DDR*, München.

17. Fein, E. 2014, Geschichtspolitik und Identität. Eine sozialpsychologische (Re)Interpretation russischer Erinnerungskulturen am Beispiel zweier post-sowjetischer Erinnerungsorte, In: Ganzenmüller, J., Utz, R. (eds.), *Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte — Akteure — Deutungen*, München, p. 245—306.

18. Ganzenmüller, J., Utz, R. 2014, Exkulpation und Identitätsstiftung. Der Gulag in der russischen Erinnerungskultur. In: *Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung*, p. 1—30.

19. Garcia, P. 2010, Usages publics de l'histoire. In: Delacroix, C. et al [sous la dir.], *Historiographies, II. Concepts et débats*, p. 912—926.

20. Rathkolb, O., Sooman, I. (eds.), 2011, *Geschichtspolitik im erweiterten Ostseeraum und ihre aktuellen Symptome — Historical memory culture in the enlarged Baltic Sea Region and its symptoms today*, Göttingen.

21. Hösler, J. A. 2009, Der “Grosse Vaterländische Krieg” in der postsowjetischen Historiographie. In: Karl, L., Polianski, J. (eds.), *Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im neuen Russland*, Göttingen, p. 237—249.

22. Hoppe, B. 2003, Die Last einer feindlichen Vergangenheit. Königsberg als Erinnerungsort im sowjetischen Kaliningrad. In: Weber, M. (ed.), *Preussen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte*, München, p. 299—311.

23. Hoppe, B. 2008, Königsberg / Kaliningrad im 20. Jahrhundert – Abbruch oder Kontinuität? 750 Jahre Königsberg. *Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit*, Marburg, p. 587—600.

24. Koziol, G. 2012, *The politics of memory and identity in Carolingian royal diplomas: the West Frankish Kingdom (840-987)*, Turnhout.

25. Kurilo, O. Wandel der Erinnerungslandschaften im heutigen Russland: zwischen sowjetischem und postsowjetischem Denken. In: *Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im neuen Russland*, p. 141—162.

26. Mehnert, E., (ed.), 2001, *Landschaften der Erinnerung. Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht*, Frankfurt a/M.

27. Leggewie, C. 2014, Europas geteilte Geschichte. Am Beispiel des Erinnerungskonflikts um “Aljo scha”. In: Berger, S., Seiffert, J. (eds.), *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften*, Essen, p. 229—246.

28. Nora, P. (ed.), 1997, *Les lieux de mémoire*, T. 1—3.

29. Majerus, B. The “lieux de mémoire”: a place of remembrance for European historians?. In: *Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den Kulturwissenschaften*, p. 117—130.

30. McIvor, M. C. 2012, *Soviet policy towards the new territories of the RSFSR, circa 1939 to 1953*, Ph. D thesis.

31. Pomian, K. 2011, “Geteiltes Gedächtnis”: Europas Erinnerungsorte als politisches und kulturelles Phänomen. In: Weber, V. et al. *Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven*, München, p. 27—40.

32. Sakson, A. 2011, *Od Klajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Klajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury*, Poznań.

33. Schmid, H. 2009, Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept. Zur Historisierung der Kategorie “Geschichtspolitik”. In: *Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Kollektiven Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis*, Göttingen, p. 53—76.

34. Sooman, I. 2011, Aktuelle historische Konfliktpotentiale im Ostseeraum. In: Weber, V. et al. (eds.), *Geschichtspolitik im erweiterten Ostseeraum und ihre*



aktuellen Symptome. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven, München, p. 11—29.

35. Lebow, R.N. (ed.), 1986, *The Politics of Memory in Postwar Europe*. Duke.

36. Traba, R. Zwischen “Bollwerk” und “Heimatmuseum”. Zu ostpreussischen Erinnerungsorten. In: *Preussen in Ostmitteleuropa*, p. 283—295.

37. Henningsen, B. et al. (eds.), 2009, *Transnationale Erinnerungsorte: Nord- und südeuropäische Perspektiven*, Berlin.

38. Le Rider, J. et al. (eds.), 2002, *Transnationale Gedächtnisorte in Zentraleuropa*, Wien ; München ; Bozen.

39. Troebst, S. 2013, Geschichtspolitik. Politikfeld, Analyserahmen, Streitobjekt. In: *Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich*, Göttingen, p. 15—34.

40. Uhl H. 2009, Kultur, Politik, Palimpsest. Thesen zu Gedächtnis und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Schmid, H. (ed.) *Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis*, Göttingen, p. 37—52.

41. Vitkus, H. 2011, Mažoji Lietuva kaip lietuvių atminties vieta: teorinis modelis, Daugiareikšmės tapatybės tarpurdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais, *Acta Historica Universitatis Klaipedensis*, T. 23, Klaipėda, p. 203—233.

About the author

Dr Ilya Dementyev, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: IDementev@kantiana.ru